



Сергей АВЕРИНЦЕВ

Вячеслав Иванов — сегодняшними глазами

Согласно дневниковой записи от 5 декабря 1924 г., Вяч. Иванов, за несколько месяцев до того навсегда расставшийся с Россией и приехавший в Рим, изливал в разговоре с дочерью более чем понятные травматические чувства, которым он еще, как правило, давал несравнимо меньше воли, чем большинство его собратьев, но которые, разумеется, мучили и его, даже и тогда, когда он молчал о них, чувства отторгнутости даже и не только советским большевизмом, безраздельно господствовавшим на его родине, но и, шире, современностью как таковой в том ее предвидевшемся развитии, для которого большевизм являлся, пожалуй, всего лишь одним из симптоматических проявлений:

...Никого и ничем вообще не смогу заинтересовать, так как мирозерцание моё нынешнему в основе чуждо. — Дочь тогда возразила ему, по его рассказу, очень мудро: — Если сам заинтересуешься, то и другие заинтересуются, а если не заинтересуешься сам, не будет силы и других заинтересовать; мирозерцания же меняются каждые 10–15 лет и ровно ничего не значат¹.

Хвала дочерней рассудительности, так хорошо находящей доводы, которые утешают, не будучи сентиментальными! Однако в продолжение последующих десятилетий ощущение фатальной чуждости наследия Вяч. Иванова всему современному, конечно, только возрастало. Да, о нем еще помнили такие же, как он, питомцы затонувшей Атлантиды, например, русско-немецкий мыслитель и писатель Федор Степун, который откликнулся в 1936 г. на 70-летие Вяч. Иванова статьей, принадлежащей к самому превосходному, что написано о русском символизме в жанре мемуарно-эссеистическом; но таких «посвященных» оставалось с каждым годом всё меньше и меньше. Да ведь и зарубежные собеседники поэта, включая столь известных, как, например, Мартин Бубер или

Жак Маритен, принадлежали, в общем, к уходившему культурному типу. И когда жизнь Вяч. Иванова тихо угасла 16 июля 1949 г. в его римском жилище на *via Leon Battista Alberti*, мир, казалось, вовсе его позабыл.

Даже издание «Света вечернего», затеянное по благой инициативе оксфордских профессоров С. А. Коновалова, М. Боура и И. Берлина, подготовка которого к осени 1947 г. так скрасила последние годы Вяч. Иванова, смогло появиться только пятнадцатью годами позднее, уже в 1962 г.; но дело даже не в сроках как оно было принято, это издание? Должен сознаться, что для меня лично оно стало важным переживанием тогда же², и я был, конечно, не единственным даже и в моей московской среде³, — и всё же, много ли нас было? Те русские любители стихов, у которых все усилия советской идеологии не смогли вытеснить память о поре символизма, читали и перечитывали своего Блока, к имени которого даже советский официоз постепенно оказался вынужден проявлять определенную меру уважения; в памяти о Блоке была сосредоточена жизнь целого ряда поколений русской интеллигенции. Затем добавлялись другие чтимые имена. Когда В. Марков лет 20 тому назад описывал отношение образованного россиянина, уже порядком начитанного в Пастернаке, Ахматовой, Мандельштаме, Цветаевой «и даже Хлебникове», к имени Вяч. Иванова, он прибегнул к помощи двух гротескных метафор, одной фольклорной, другой из Маяковского — глядят, мол, «как баран на новые ворота» и «как в афишу коза»⁴, — и эта чересчур красочная, намеренно гробианистская эпиграмма в прозе должна быть, разумеется, рассматриваема в соответствии со своей жанровой принадлежностью; но какое-то отношение к действительности она, пожалуй, всё же имела... Конечно, даже и в Москве 60-х — 70-х гг., еще такой советской, было кому напоминать о забытом. Ведь оба именитых наследника философской традиции и М. М. Бахтин, скончавшийся в 1975 г., и А. Ф. Лосев, доживший до 1988 г., — относились к творчеству Вяч. Иванова с самым пламенным энтузиазмом и отнюдь не скрывали ни от себя самих, ни от партнеров доверительных бесед, сколь многим их собственная мысль была обязана его мысли⁵. Однако не менее характерно, что тогдашнему читателю, скажем, бахтинской книги о Достоевском были куда более внятными пункты несогласия Бахтина с Вяч. Ивановым, чем их глубокое согласие в самом главном, т. е. в тезисе о «диалогизме»; да и собеседники не всегда проявляли понимание именно тогда, когда речь заходила об Иванове. До чего тому же В. Д. Дубакину, человеку совестливости совсем не советской, но по культурной формации представителю своего поколения, — до чего ему было странно и непонятно, что

Михаил Михайлович с такой отчетливой эмфазой вспоминает не кого другого, но автора «Cor ardens»^{6!}

Но как же соотнести с этим реальность сегодняшнего дня, для которой одним из внешних, но характерных проявлений служит, в частности, сравнительно недавняя, но уже утвердившаяся традиция посвященных Вяч. Иванову международных симпозиумов, основанная Иельским симпозиумом 1981 г. и благополучно поддерживаемая по сие время симпозиумами, происходившими в самых разных научных центрах мира, сначала каждые два, затем каждые три года? Еще важнее другое: едва ли не с каждым из последних годов в научный обиход поступало множество дотоле неопубликованного материала, прямо или косвенно относящегося к обстоятельствам жизненного и творческого пути поэта на фоне его эпохи, за которой в сегодняшней России прочно закрепилось не слишком корректное терминологически, но полюбившееся обозначение «Серебряный век». То, что еще недавно было предметом чересчур общих, чересчур приблизительных догадок, приобрело небывалую доселе конкретность деталей и систематическую проработанность общих контуров. История символистской поры всё больше становится подробной и достоверной хроникой, распределенной прямо-таки по дням. Здесь первостепенная заслуга принадлежит, разумеется, архивистам. Мне, как представителю моего поколения, хочется с особой похвалой упомянуть тех, кто начинал свои исследования во вполне советские годы, с совершенно бескорыстным расчетом отыскивать затем место для публикации то в тартуских сборниках, устраивавшихся покойным Ю. М. Лотманом, то в каком-нибудь исключительно малотиражном московском или питерском издании; тогдашние архивисты, занимавшиеся материями вроде Вяч. Иванова, составляли словно бы особое братство. Но, разумеется, можно только порадоваться тому, что их труды сегодня оказываются продолжены усилиями младших коллег. А сам по себе расцвет архивной работы — конечно, не просто обстоятельство узко профессиональной жизни, но симптом, один из симптомов радикального сдвига в общем умонастроении как русской «образованной публики», так и международного сообщества русистов. Так сосредоточенно занимаются только тем, что всерьез заинтересовало.

Оказалось, что наследие русского символизма — отнюдь не собрание антикварных объектов, но, напротив, нечто, имеющее самое прямое касательство к тем спорам, которые сегодня донельзя актуальны — подчас даже на уровне mass-media. Разумеется, такая острота плохо совместима с настроением пиетета, вообще мало свойственным нашему непочтительному времени и весьма чуждым специально постсоветской России; поэтому результат далеко не всег-

да похож на понимаемое в категориях того же пиетета сыновнее «воскрешение» былого, на «возвращение» отцов, — в наши дни эмоциональная окраска этих старомодных категорий отцовства-сыновства предполагает уж скорее конфликт, «агрессию», уклон к разоблачению, затребование ушедших поколений к ответу, чем какое-либо благостное расположение духа. Что же, вспомним строку Вяч. Иванова: «На живых то гнев живых»; нет никакого сомнения, что для самого резкого своего «разоблачителя» Вяч. Иванов сегодня, во всяком случае, — живой (и это существенно отличает сегодняшний дискурс от советского, тоже любившего разоблачения, но желавшего уверенности в том, что разоблачаемые, например, те же символисты, надежно, гарантированно мертвы). На поверхности в первую очередь оказывается, как и следовало ожидать, проблема отношения символистской эстетической утопии к тоталитаристским программам (*Gesamtkunstwerk* с вовлечением масс и, шире, радикальное пересоздание человеческой идентичности как таковой). Решающая и весьма влиятельная инициатива в этом пункте, осуществленная еще в 70-е годы, принадлежит, как известно, отнюдь не академическим исследованиям, но столь откровенно страстному и пристрастному мемуарному труду, как Вторая книга Н. Я. Мандельштам⁷. При несомненном присутствии именно в этом аспекте ее рассуждений вполне иррационально обусловленных мотивов, ее тезисы имеют перед современными вариациями на ту же тему несомненное преимущество оригинальности. И никак нельзя сказать, будто вопрос, со скандалёзной остротой ей поставленный, сам по себе лишен смысла; в той «кармической» сети сложнейших причинно-следственных сплетений, какую представляет собой история рода человеческого и специально история идей, никакого алиби ни для кого нет и по определению быть не может, и к символизму, самая суть которого связана с опасным вопрошанием о том, что нынче называют антропологическим кризисом, а тогда называли «кризисом гуманизма», это относится в особой степени. Вяч. Иванов сказал всё в своем стихотворении «Да, мы костер сей поджигали...», — да так, что, пожалуй, лучше не скажешь. «Кто развязал Эолов мех, / Бурь не кори, не фарисействуй...». Ложен совсем не вопрос, а только прямолинейно-оценочный модус его постановки; небезвинность культурного феномена — по своей сути иной предмет, чем однозначно выражимая в юридических или хотя бы квази-юридических категориях виновность соучастников тоталитарного террора и тоталитарной пропаганды, она требует иного типа, иного стиля дискурса для своего рассмотрения, и это так даже не в силу соображений пиетета, а исключительно по объективным, внеэмоциональным причинам, по самой сути дела. Конечно, сегодня обсуждение рус-

ского символизма попадает в широкий trend столь характерного для современной Европы развертывания *Schuldfrage*, распространения этого «вопроса о виновности» на культуру. Позволяя себе маленькое отступление, впрочем, не уводящее нас от нашей темы, рискнем заметить, что едва ли уж так мудро и со стороны сегодняшней западной философствующей публицистики, скажем, усматривать чуть ли не главного обвиняемого по делу о преступлениях гитлеризма — в Рихарде Вагнере, и даже не как авторе довольно глупой статьи О еврействе в музыке, но именно как творческом композиторе (в постсоветской России главным виноватым оказывается скорее Бетховен как автор IX симфонии). Заметим вскользь: на наших глазах дискурс, желающий быть либеральным, анти тоталитарным, антиавторитаристским, перенимает ход, который всегда считался как раз характерным для сугубо антилиберальных, архиконсервативных типов мышления, который высмеивался когда-то в вольнолюбивых куплетах, распевавшихся еще Гаврошем из романа Гюго на баррикадах — «*C'est la faute à Voltaire, / C'est la faute à Rousseau*»; а в России даже на великого Крылова Вяземский тоже по либеральным соображениям не на шутку сердился за его басню Сочинитель и разбойник, где равным образом обсуждаются нежелательные общественные последствия некоторых литературных текстов. Но проблема, в конце концов, даже не в респекте к мысли и к ее правам. Самое важное, что тоталитаризм как таковой, со всеми катастрофами, им учиненными, — не что иное, как абсолютно ложный ответ на некоторые достаточно реальные вопросы; и когда ответ оказывается, слава Богу, наконец-то развенчанным, все вопросы в своем качестве вопросов остаются с нами. Кому не ясно, что после всех злоключений с тоталитаризмом мы пришли вовсе не к такому пониманию личности, народной общности, государства и прочих простейших категорий самоосознания человека, которое существовало на уровне прописных истин здравого смысла демократии образца XIX в.? У оптимиста могут быть причины радоваться прогрессу понятий, их плодотворному развитию, у пессимиста могут быть основания страшиться их мутаций, их неприметной подмены, но для того и другого слишком очевидно, что возврата нет и не будет. Как сказал великий собрат Вяч. Иванова по символизму, «никто не придет назад».

Да, все вопросы остаются с нами. А сила русского символизма (как и во многих отношениях сродного ему более раннего явления немецкой романтики) состояла не в завершенных достижениях, не в фиксированных ответах, а именно в постановке вопросов, в чуткости к проблематичному, потенциальному, еще не ставшему, не оформившемуся, растворенному в жизненных стихиях⁸. В 1936 г.

Вяч. Иванов нашел для своей энциклопедической статьи *Simbolismo* такую завершающую фразу о том, что называл символистской «школой»: “...*Siccome i grandi problemi che aveva posti non hanno trovato nei limiti di essa una soluzione adeguata, tutto fa prevedere in un avvenire più o meno lontano e sotto altre forme una più pura manifestazione del “simbolismo eterno”*»⁹ («...Поскольку большие проблемы, ею поставленные, не нашли в ее пределах адекватного решения, всё заставляет предвидеть в более или менее отдаленном будущем и в иных формах некое более чистое явление «вечного символизма»»¹⁰). Мы сейчас едва ли склонны говорить в этой связи именно о «*simbolismo eterno*» — впрочем, и Вяч. Иванов взял это словосочетание в кавычки, — но трудно отрицать, что мы и впрямь стоим перед теми же вопросами, возвращающимися к нам «*sotto altre forme*», но так покуда и не получившими дефинитивного разрешения: в конечном счете, к вопросам о новой идентичности человека по ту сторону описанного символистами кризиса гуманизма классического. Вспомним, что интуиция поэта в свое время не дожидалась сегодняшней реальности т. н. «*global village*», чтобы загореться чаянием нового, неслыханного, небывалого единства всего человеческого рода, выраженным отнюдь не только в IV части Человека. Читателя Вяч. Иванова не должна обманывать видимость: его язык намеренно, обдуманно архаичен, однако предчувствия, на этом языке выражаемые, подчас разительны актуальны и касаются того самого, о чем сегодня на своем несносном жаргоне щебечут воробьи со всех «медиальных» крыш.

И какие бы вопросы — суровые, «провокационные», просто критические — ни были у нас, исследователей и читателей, к Вяч. Иванову, одно мы должны постоянно чувствовать: насколько сам он умел ценить вопросы и не страшиться их, насколько он был для них открыт.

Поэт и мыслитель, широко обсуждавший темы, подчас приобретшие к нашим временам актуальность расхожую, легко банализирующуюся, — скажем, вопрос о новой роли женщины», — во всяком случае не заслужил такого подхода к себе, который запирает его в «малом времени», как выразился бы Бахтин, в хронотопе пришествия большевизма, а должен быть рассматриваем в контексте международном и межкультурном. Его взгляды на грядущий переход от «келейного» искусства к всенародным «оркестрам» на площади — и вправду некоторое время вульгаризовавшиеся в теории и практике массового политического «действия» раннебольшевистской поры — благоразумно соотносить с очень широким кругом явлений искусства и жизни XX века. Даже если соотношение это будет неизбежно во многих пунктах носить характер более

или менее горькой иронии, скажем, когда придется повести речь о «масскультуре» и прочих субкультурах — сама ирония эта будет содержательнее, чем непременно замыкание вопроса на советских реалиях. Весьма интересные публикации А. Лаврова и Л. Зубарева не только дают случай убедиться в том, что ивановские опыты диалога с находившейся еще *in stato nascendi* советской культурой осуществлялись с достойной сдержанностью, но, что много важнее, заставляют задуматься о том широком пересмотре присущей сознанию Нового Времени абсолютизации контраста между авторством и принужденной к пассивному восприятию массой не-авторов, — который ощутим на каждом шагу в современном демократическом обиходе, чем демократичней, тем резче. Предложенная поэтом программа постановки Макбета, при которой будет оставлено лишь то, «что действует», если угодно, даже чересчур похожа на практику сегодняшнего, отнюдь не «самодеятельного» театра (которая, возможно, возмутила бы Вяч. Иванова); на что она не похожа, так это на диковинную археологическую вещицу из раскопок¹¹ культурных слоев раннего тоталитаризма.

Вопрос о «правоте» или «неправоте» ряда аспектов мировоззрения Вяч. Иванова, по-видимому, останется открытым долго, если уж не прямо до конца истории. Не надо забывать, что мысль поэта чаще ставила вопросы, нежели предлагала ответы, и что прогноз не есть еще безоговорочное одобрение прогнозируемого, как и определяющий эмоциональную окраску ивановских прогнозов ницшевский «*amor fati*» заведомо не тождественен историческому оптимизму. Мне кажется, я попробую совсем на ином языке суммировать то, что представляется мне содержательным в сугубо «агрессивном» докладе Владимира Паперного¹², если скажу, что в фигуре поэта соединялись две особенности, редко совместимые: с одной стороны, повышенная чуткость к подспудным, но, как сегодня никто не может отрицать, совершенно реальным тенденциям века, материализующимся и в «глобализме», и в т. н. гиперэкуменизме, и в пересмотре роли женщины, и в ожиданиях Века Водолея, — всего не перечислить, да и незачем; с другой стороны, он, в отличие от других медиумических натур, остерегался, и чем дальше, тем больше, — во имя этих ожиданий прозакладывать всё на свете, в особенности же свою бессмертную душу. Он знал, насколько риск духовной ошибки и связанного с ним падения реален, и не то чтобы силился этого не видеть, напротив:

Два ока мы единственного взора;
И если свет, нам брезживший, был тьма,
И — слепоты единой два бельма...

— вот как он писал, скорбно поминая ту, с которой были разделены попытки расслышать нашептывания времени. Но постепенно у него вырабатывается очень специфическая стратегия «дистанцированное без отчуждения», которая составляет существенно новую черту его мысли и творчества именно в последний период и которой еще не было в запомнившемся мемуаристам «башенном» облике.

И сегодня сохраняет смысл сказанное еще Павлом Муратовым о масштабе в постановке проблем, или, как он выразился, о «высотах мироотгадывания», присущих культурной формации Вяч. Иванова и прежде всего ему самому¹³.





ИЗ ПЕРЕПИСКИ

